

– Анна Петровна Назарова – по национальности немка. Это по мужу она Назарова, а по отцу – Вирц. На вид Петровне лет под восемьдесят. Так оно и есть – родилась она в 1925 году в селе Байдек, что в Саратовской области.

Лицо у старушки, как печёное яблоко, всё в крупных морщинах, а в поблекших глазах – такая усталость, будто человек только что вернулся с покоса и ему смертельно хочется лечь, разогнуть онемевшую согбенную спину, разбросать вдоль тела ноющие от тяжкой работы руки и забыться хотя бы на несколько минут, на часок в освежающем сне, который, возможно, и принесёт облегчение обессиленному телу и душе, придаст немного сил для последующего движения вперёд.

Я беседую с Анной Петровной о жизни, о ее родителях, о войне, чем запомнились юные годы и о тех событиях, что западают в душу и очень часто вспоминаются на склоне лет.

Рассказывая, старушка часто задумывается и, встрепенувшись, потеряв нить мысли, постоянно переспрашивает:

– Так на чём я остановилась? Вот проклятый склероз, опять забыла, о чём рассказывала...

– Мне было всего пять лет, когда умерла мама. У отца осталось на руках пятеро детей – три девочки и два пацана. Старшей дочери было десять, младшенькой только-только исполнился годик. Я не знаю, от чего умерла мама. Отец говорил, что простыла, случилось воспаление лёгких, и буквально в течение десяти дней она сгорела. Я только смутно помню, как она в бессмятстве металась на кровати и была очень горячая.

Через год отец женился вторично. С мачехой жилось нам несладко. Как хозяйка, она была очень хорошей, но характером весьма жёсткой. Среднего братишку забрал бездетный отцов брат и растил как сына, а мы терпели, пока не встали на ноги.

У мачехи с отцом родились трое детей, но все умерли в малолетстве.

Особенно тяжело нам досталось начало тридцатых годов. Была сильная засуха – не уродились ни зерновые, ни овощи, и случился большой голод. Тогда поумирало очень много народу. Наша немецкая слобода насчитывала почти тысячу дворов, осталось вполовину.

Еле-еле стали выкарабкиваться из голодухи, тут – коллективизация. А немцы – народ законопослушный. Им сказали: «Вступайте!»

– они как один подали заявления и с педантичной скрупулёзностью принялись осваивать коллективное хозяйство. И потом: попробуй вякни что-нибудь супротив – моментом сгребут, сунут в «черный воронок» и... поминай, как звали. Все до жути боялись тогда этого «черного воронка» и старались поменьше болтать.

К 1934 году колхоз в нашей слободе уже крепко на ноги встал, и вплоть до войны большие урожаи собирали. Даже на трудодни прилично начисляли – на весь год хватало и зерна, и муки, и овощей. Колхоз имел хорошую животноводческую ферму, была своя маслобойня и сырное производство. Из излишков мяса, после сдачи государству, делали колбасу и коптили окорока. С плантацией подсолнечника получали хорошую прибыль, выгоняя и продавая постное масло.

Люди имели возможность строить дома, и слобода заметно похорошела. Появилось много добротных домов, все улицы в основном были вымощены камнем.

Начиная с пятого класса нас, школьников, приучали к труду: на всё лето вывозили на стан, и мы занимались прополкой хлебов вручную. Посмотреть на такие поля было любо-дорого: ни соринки, ни травинки, только колосистая пшеница, рожь и ячмень.

Но грянула война. И уже первого сентября сорок первого нам объявили о высылке и отправке на Алтай.

Дали на сборы неделю и разрешили брать с собой из вещей не более 50 килограмм на человека. Мы, в основном, брали продукты: муку, крупы, всякие копчёности, сыры, масло и т. д.

Старшая сестра к тому времени уже работала, и её отправили куда-то в тыл сопровождать скот. Больше мы её не видели, пропала без вести.

На телегах нас довели до станции – обоз тянулся на несколько километров. Посадили в телятники и в течение двух дней отправили на восток. Почему, зачем нас выслали в Сибирь, так никто толком и не объяснил. Якобы, боялись, что мы переметнёмся на сторону фашистов...

До Алтая добрались уже в конце октября. Зима на пороге, а как её пережить, одному

Богу известно. Разместили нас по квартирам в деревне недалеко от Бийска. Продукты все подъели, и мачеха принялась обменивать пожитки на продукты, пока что-то можно было выменять.

А тут новая беда. В декабре отца мобилизовали в трудовую армию – отправили в Архангельскую область, откуда он так и не вернулся. Следом за отцом в трудовую армию забрали старшего брата, которому исполнилось 18 лет. А в начале сорок второго забрали в трудовую армию и меня. К тому времени мне шёл семнадцатый год.

Попала я в Свердловскую область в город Тавда. Не в сам город, а в лагерь, где перед нашим приездом отбывали наказание заключенные. Их перевели в другой лагерь, нас же, женщин в количестве 1500 человек, поселили на их место.

До лагеря шли пешком два дня, до него было почти 90 километров. Многие женщины всю дорогу плакали по оставшимся дома малолетним детям. А бежать боялись, потому что все равно поймут. Не успеешь порог переступить и близких увидеть, как тут же схватят и вообще за колючую проволоку укутут, а то и прибьют насмерть.

Расселили нас по баракам с двухъярусными нарами. А бараки старые – по стенам влага сочится. Вместо матрасов, какое-то затхлое тряпье. Спецдежды никакой. Не положено. На работу ходи, в чём одет и что с собой приватил.

Работа – лесоповал, не каждому мужику по плечу, а тут девчонки и бабы... И пайка скудная, да и та при условии выполнения дневной нормы. Не выполнил – из лесу не приходи, талон в столовую не дадут. Мы-то молодые, нам легче было эти нормы вытягивать, а кто постарше и здоровья нет, те быстро изнашивались. От полутора тысяч через год, если четыре сотни девок осталось, да и того меньше... От истощения и простудных заболеваний умирали.

Но людей постоянно пополняли. Отовсюду пригоняли этапы: из Казахстана, с Дальнего Востока и с Алтая – в основном, ссыльные немцы и русские. Южане не выдерживали, быстро погибали, и их перестали привозить: видимо, поняли – толку мало, одни затраты на перевозку.

Недалеко от нашего лагеря находился мужской конвойный лагерь, и почему-то мужиков больше умирало, чем женщин. В народе недаром говорят: «Бабы, что кошки, живучи». А у мужиков и нормы были выше и кормёжка хуже, вот и слабели они быстрее.

Одну зиму я работала на вывозке леса – баланы возили на санях лошаадьми. Летом ло-

шадьми почти не возили: места болотистые – не проедешь. Летом строили деревянные узкоколейки: вместо шпал клали низкосортные баланы и верхинную часть деревьев. Сверху на них прибивались деревянные «рельсы» – бруски из жердей. Их тесала специальная бригада – шпалы таким макаром готовили заранее.

На укладке примитивной узкоколейки тоже две-три бригады работали. Вот уж работа адова! Постоянно по пояс в болотной жиже лезли. А сошиться – только у костра. И гнус с комарьём житья не давали. Чем только ни мазились, чтобы отпугнуть этих кровососов, да толку почти никакого.

Так вот на конный двор и с конного двора мимо ворот мужского лагеря приходилось проезжать. И сколько раз видела, как дядя Ваня (тоже возчик – неоднократно встречались на конном дворе при запрягании и распрягании лошадей) грузит голые трупы мужиков на розвальни, укладывает валегом, чтобы больше вошло на сани, увязывает их верёвкой, дабы не растерять по дороге на кладбище.

– Дядя Ваня, – спрашиваю, – а почему они голые?

– А зачем им – мертвякам – в земле одёжа?.. Постирают, и живые донашивать будут.

– Что-то много их у вас?

– Да, считай, каждую неделю по двое-трое розвальной отвожу.

Зекское кладбище (а там и наших женщин хоронили) располагалось недалеко за лагерем, в лесочке. Ещё летом бригада землекопов копала там несколько рвов, и за зиму они заполнялись доверху. По мере заполнения ров закидывали землёй и принимались заполнять следующий.

Не было такого дня, чтобы кто-то из нашего барка не умирал, а то и по два-три человека сразу, особенно зимой. Бараков же было четыре. Так что труда особого не составляло подсчитать, сколько баб и мужиков ежедневно отдавали Богу душу только в Тавдинском трудовом лагере. А сколько по Сибири, и по всей матушке России?.. Господи, и за что? За какие такие провинности и грехи ты наказывал нас?

За полтора года (со дня прибытия в Тавду) мы так обносились и оборвались, что жутко было смотреть – одни лохмотья. На ноги приспособивали рукава от старых изношенных пальто и телогреек, придавая им вид бурок. Завязывали их под коленями веревочками, чтобы снег не набивался внутрь, а вместо подошв привязывали или бересту или обрезки от старых попон, коими укрывали взмокших и продрогших лошадей.

Помню, был на конном дворе подсобным рабочим один очень исхудавший мужчина. Не сказать, чтобы старый, но очень измождённый. Говорят, раньше работал в лесу сучкорубом, а когда уж совсем подошёл, взяли из жалости подсобником на конюшню – пусть хоть овсом подкормится вместе с лошадьми. Ходил он весь в лохмотьях, фуфайка постоянно в штаны заправлена, и что-то за пазухой прятал.

Стали мы у него допытываться: почему он так опустился?

– Ты ведь ещё молодой... Возьми себя в руки! Не вечно же мы здесь лес валить будем. Настанут и лучшие времена.

От такого внимания к себе он заплакал.

– Понимаете, – говорит, – я ведь в прошлом первоклассный летчик, на больших бомбардировщиках летал, других учил летать. И сегодня мог бы бить фашистов, уничтожать их технику на своём бомбардировщике, но меня выгнали из армии, загнали сюда валить лес... За что меня сделали нечеловеком?

И прошептал, вытирая слезы:

– Наверное за то, что отец у меня был волжский немец, а мама – финка...

Потом он достал из-за пазухи пачку фотографий и показал, комментируя каждый снимок:

– Это мои родители, а это жена с сыном и дочкой. Где они сейчас, не знаю. Они остались в Казахстане. А вот это мои однополчане по лётному училищу. Здесь я со штурманом и механиком у самолёта. А на этом снимке мы укладываем парашюты, готовимся к прыжкам...

Как сейчас помню его глаза, когда он показывал фотографии. В них были и радость, и боль, и тоска. Я чуть сама не заплакала, глядя на счастливые улыбки его жены и детей, запечатленные на помятой фотографии.

По-моему, он так и не дожил до дня Победы над фашистской Германией.

Меня вскоре перевели в лес вальщиком, и на конный двор я больше не ходила.

Кормили нас отвратительно. Восьмисотграммовая пайка хлеба на день – и та наполовину с мякиной и опилками. А баланда с мороженой капустой и картошкой – одно название, что суп, для желудка никакой сытости.

С работы придёшь – аж качает от усталости, и есть хочется – немогогу. Ляжешь на нары, все кости болят, а от голода уснуть не можешь. В голове одна мысль – где бы чего поесть.

Однажды в каком-то беспмятстве встала и побрела к столовой, оперлась о дверь и горькими слезами плачу.

Выходит старичок (он у нас поваром работал), увидел меня и спрашивает:

– Ты чего здесь среди ночи? Кто увидит, не сдобровать тебе.

А я сквозь слезы:

– Не могу уснуть, есть хочу.

Старичок впустил меня, завёл на кухню, в какой-то закуток, усадил на табуретку и принёс миску каши. Я не заметила, как проглотила её.

А когда уходила, вышел на крыльцо посмотреть – нет ли кого, и сунул на дорогу ещё полбулки хлеба: «Беги и никому не говори, что я тебя покормил. Тебя накажут и мне не сдобровать».

Прибежала в барак и сразу же уснула – да так, что не слышала побудку на развод.

Подружка будит:

– Аня! Аня! Вставай... Уже развод начинается. Ты чего сегодня такая? Заболела?

А я шепчу ей на ухо: «Катюша, а у меня полбулки хлеба есть». И рассказала, как ночью на кухню бегала, и дедушка таким добрым оказался, сжалился надо мной.

В сорок третьем назначили нового начальника нашего трудармейского лагеря. Он устроил собрание и сказал: «Я буду строго спрашивать за выполнение норм выработки, но сделаю всё, чтобы вы не были голодными и такими оборванцами».

И, правда, с приходом нового начальника всё изменилось...

Мы жили в полуподвальных бараках, где по стенам в дождливую погоду, весной и осенью сочилась влага. В комнатах жили по 50 человек – с одной буржуйкой посредине, которая ни черта не грела, и невозможно было высушить мокрую одежду. Утром надеваешь свою рвань, а она ещё влажная и на морозе сразу колом становится. От того и простывали.

Одно спасенье было – отогреться и обсушиться у костра. Соберёмся у него – от нас пар валит клубами. И только разговор о еде, о хлебе. «Господи, – вздыхали все, – когда же наступит такое время, когда можно вдоволь наестся хлеба?».

И вот за лето построили новые бараки. Тёплые, светлые, с двухъярусными металлическими кроватями. Построили баню и сушилку. Раньше мы летом только в речке мылись, а тут парная и еженедельная помывка. Вечером с работы пришёл, мокрую одежду сдал, утром получил горячую и сухую.

Выдали одеяла, подушки и матрасовки, которые мы периодически набивали сеном – спать одно блаженство. Впервые выдали валенки, бушлаты, шапки, рукавицы, портянки, а летом получали ботинки.

И кормёжка значительно улучшилась: появилась рыба, крупы и даже консервы, не го-

вора уже о качестве хлеба, в котором исчезли опилки, и он стал пахнуть именно хлебом.

Тогда-то я поняла, как много зависит от местного начальства. Захочет руководитель заботиться о подчиненных – всё будет. Не захочет – всё прахом пойдет.

А на заботу и мы отвечали ударным трудом. В сорок седьмом нас, женщин, освободили от трудовой повинности и отпустили по домам.

Вернулась я на Алтай, а родных, кроме мачехи и пятнадцатилетней сестрёнки – никого.

Тут я и узнала о смерти отца в трудармии. Братья ещё отбывали там трудовую повинность.

Сестрёнка жила с мачехой и, несмотря на своё малолетство, уже работала в колхозе. Посмотрела, как над ней измывается мачеха – забрала её, и мы ушли на квартиру в пригороде Бийска.

Голодно было. Собирали по полям и пашням близлежащих колхозов колоски и мёрзлую картошку. За 12 километров ходили и в холод, и в слякоть. Обьездчики гоняли нас, кнутами хлестали, но не подыхать же с голоду...

Устроилась на стройку. Арендовала огорожок – целик раскопала, посадили с сестрёнкой всяких овощей, но больше всего картошки. И в тот год она очень хорошо уродилась, нам с сёстрёнкой на всю зиму хватило. Мы ели её во всех видах: и варёную, и толчёную, и жареную, и «в мундире» с квашеной капустой. Даже часть продали. А на вырученные деньги купили себе на «барахолке» обноры и поросята, благо было чем кормить. Получали мы не ахти, но на прожиток хватало.

В общем, жизнь стала налаживаться. И надоело нам по чужим квартирам мотаться. Выделили мне небольшой участок, на работе пообещали помочь с некоторыми стройматериалами: двери, окна, цемент, гвозди, а в остальном – крутись сама. Ну что ж, крутиться не впервой.

Взялась сначала за саманные кирпичи. До свету встану – и на берег речки. Вырою углубление, глины накидаю, соломы. Воды натаю. И давай ногами месить. Затем массу замеса лопатой в подготовленные формы набью. Ноги помою – и бегом на работу. Вечером прибегаю – кирпичи на жаре подсохли. Аккуратно вынимаю и раскладываю под навесик дальше подсыхать. А сама – новый замес. Так за лето на целый дом кирпичей и наготовила.

А тут сестрёнка замуж засобирилась – девятнадцать стукнуло. Куда деваться... Надо помогать – дело молодое. Она ведь, как дочка, мне стала. Отгуляли скромную свадьбу, и я принялась перевозить свои саманные кирпичи с берега на тележке на свой участок. В поселке тогда много переселенцев с Поволжья

было. Клич кинула. Пришли мужики, бабы, и за два дня мне хату сложили. Нашёлся и хороший печник, добротную печь сложил. Окна, двери вставили. И к холодам я уже новоселье справила.

Женщины помогли мне оштукатурить стены и побелить как снаружи, так и изнутри. Посмотришь со стороны – домик, как игрушка, получился. Беленький, уютненький.

В пятьдесят пятом, когда мне стукнуло тридцать, постучало счастье и в моё окно: по сватал лучший комбайнер из соседнего совхоза. Парень чуть старше меня. Разошёлся с женой, что-то им не пожилось, детей не завели – может, это и стало причиной развода. Только у нас с Аркадием данной проблемы не возникло. Буквально через год у нас родилась дочь, а потом один за другим – два сына.

В 1961 году мы надумали переехать в посёлок Абагур под Новокузнецком: уговорили дальние родственники Аркадия... И работа ему сразу нашлась – механиком в поселковую автобазу. Продали свой уютный домик, который для нашей разросшейся семьи уже стал тесноват, и уехали.

Удачно устроились на новом месте. Обжились. Аркадий благодаря своему мастерству и доброжелательному характеру в автобазе пользовался авторитетом. Даже, когда ушёл на пенсию, к нему частенько обращались за советом.

Прошло много-много лет. Мне уже восемьдесят. Я пережила почти всех сверстников. Нет уже любимого мужа. Остался один сын. Но зато у меня много внуков и правнуков.

И я часто задумываюсь: удалась ли моя жизнь, нет ли горечи и сожаления о чём-то несбывшемся?

В общем-то, жизнь я довольна. Всё было. И радость, и любовь, и счастье было... Вот только тот период – тяжкие пять лет изнурительной работы и постоянного страха, что вычеркнула из жизни трудармия, вспоминать не хочется. Не дай Бог никому пережить такое!

Боже, сколько людей осталось там, на таёжных погостах у бывших лагерей, которые сегодня сравнялись с землёй и заросли чертополохом...

На их месте нет монументов и обелисков. И никогда не будет.

(Из книги «Всплохи памяти».

*Издано по лицензии
Союза писателей Кузбасса (2012)*